

БОЛЬШИЕ  КНИГИ

Марсель
Пруст

ПОД СЕНЬЮ ДЕВ,
УВЕНЧАННЫХ
ЦВЕТАМИ

« И Н О С Т Р А Н К А »



Содержание

[От переводчика](#)

[I. Вокруг госпожи Сванн](#)

[II. Имена мест: место](#)

[Примечания](#)

БОЛЬШИЕ



КНИГИ

Марсель
Пруст

Под сенью дев,
увенчанных цветами



Издательство «Иностранка»
МОСКВА

Перевод с французского *Елены Баевской*
Серийное оформление *Вадима Пожидаева*
Оформление обложки *Валерия Гореликова*
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

Пруст М.

Под сенью дев, увенчанных цветами : роман / Марсель Пруст ; пер. с фр. Е. Баевской. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2017. — (Иностранная литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-18721-4

16+

Первый том самого знаменитого французского романа XX века вышел в свет более ста лет назад — в ноябре 1913 года. Книга называлась «В сторону Сванна», и ее автор Марсель Пруст тогда еще не подозревал, что его детище разрастется в роман «В поисках утраченного времени», над которым писатель будет работать до последних часов своей жизни. Читателю предстоит оценить вторую книгу романа «Под сенью дев, увенчанных цветами» в новом, блистательном переводе Елены Баевской, который опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.

© Е. Баевская, перевод, статья, примечания, 2016

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа

„Азбука-Аттикус“, 2016

Издательство Иностранка®

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.
М. Лермонтов. Сон

Из первого тома «Поисков» мы узнали о детстве Марселя, из второго узнаём о его отрочестве и юности. Кстати, то, что героя книги, рассказчика, зовут Марсель, — не совсем точно. В рукописи романа Пруст назвал его так только два раза в тех томах, которые не были напечатаны при его жизни, и никто не может сказать наверняка, в самом ли деле писатель дал главному персонажу свое имя, или оно промелькнуло случайно. Как мы видим, при всем обилии имен собственных в романе Пруст не сказал нам, какую фамилию носит семья мальчика, как зовут отца, мать и его самого, но почему-то мы замечаем это далеко не сразу.

После публикации первого тома — «В сторону Сванна» (1913) — читателям пришлось ждать продолжения романа пять с лишним лет: книга «Под сенью дев, увенчанных цветами» вышла из типографии лишь 30 ноября 1918-го, а поступила в продажу только 23 июня 1919 года. Виновата в этом война, которую теперь мы называем Первой мировой.

Между тем за год, прошедший с момента публикации «Сванна», отношение издателей к роману полностью переменялось: те самые издательства, которые категорически отвергали «Сванна», теперь соперничают за право публиковать второй том. В марте 1914 года к Прусту обращается с предложением публикации издательство «Фаскель». Сам Пруст

поначалу не желал расставаться с Грассе, издавшим первый том, но тут предложение поступает от НРФ (вскоре это издательство получит свое нынешнее название «Галлимар», по имени основателя) — и после сложных переговоров и колебаний автор передает рукопись в НРФ. Но, к сожалению, пока шла война, издавать ее было невозможно, и публикация отложилась до мирного времени. Зато было решено, что в 1919 году одновременно с «Под сенью дев» будут выпущены переиздание «Сванна», а также томик «Пастиши и смесь».

Когда второй том «Поисков» наконец выходит из печати, Пруст недоволен: слишком мелкий шрифт, слишком много опечаток... И критики поначалу встречают «Под сенью дев, увенчанных цветами» не слишком благожелательно: да, роман «умный», «проникнутый чувством», «написан с душой», но автор явно не владеет техникой романа, да и стиль нехорош. Настоящий авангардизм всегда застаёт публику врасплох. Как замечает по совершенно другому поводу Марсель, «современникам недостает необходимой дистанции — недаром же, если стоишь слишком близко к картине, невозможно ее оценить по достоинству: произведения, написанные для потомства, должно читать потомство». Но тут происходит нечто неожиданное: 10 декабря 1919 года второй том романа удостоен Гонкуровской премии. Обычно эту самую престижную литературную премию Франции присуждают более или менее молодым авторам, а Прусту уже 48 лет. К тому же он не участвовал в только что закончившейся войне, а его соперником оказался Ролан Доржелес, молодой (33 года) автор романа «Деревянные кресты», вернувшийся с фронта. И все же с перевесом в шесть голосов побеждают «Девы, увенчанные цветами». Сам Пруст не ожидал такого триумфа; он пишет Гастону Галлимару: «Не думал, что „Под сенью дев,

увенчанных цветами“ будет иметь успех. Если помните, я говорил вам, что мне немного стыдно публиковать отдельным томом эту вялую интермедию». Впрочем, несмотря на премию и на многочисленные поздравления от друзей и поклонников, книга Пруста осталась чтением для элиты, массового успеха она не имела, и тиражи романа Доржелеса втрое превысили тиражи «Дев».

Почему же писатель назвал свою книгу «вялой интермедией»? И откуда, кстати, взялось это несколько манерное название второго тома?

Пруст был очень привязан к родителям, особенно к матери, но довольно рано их потерял: в 1903 году умер отец, в 1905-м — мать. Следующие два года он тяжело проболел, настолько, что почти не вставал с постели (с детства у него была тяжелая астма). И вот в 1907 году он уезжает летом в Кабур, курортный городок в Нормандии, где как раз построили у самого моря огромный комфортабельный отель. И здоровье его чудесным образом стало поправляться. К счастью, и в самом Кабуре, и в окрестностях у него оказалось немало знакомых и друзей, а также завязались новые дружбы и знакомства. До самой войны Пруст возвращался в Кабур каждое лето. Последний раз он был там в 1913 году.

Возможно, этим перерывом в два года, с 1905-го по 1907-й, когда Пруст сражен горем, болеет и ничего существенного в его жизни не происходит, объясняется несколько необычная (хотя не «вялая», конечно) композиция книги и отсутствие в ней сюжетного единства (отсюда словцо «интермедия»): между двумя частями, на которые разбит второй том, — «Вокруг госпожи Сванн» и «Имена мест: место», — проходит два года, о которых мы никогда ничего не узнаем. В первой части мы расстались с Марселем-подростком, который все еще ходит играть на Елисейские Поля, а во второй он уже юноша, проводит вечера в ресторане и тому

подобное. Что же произошло в промежутке? Об этом сказано только в одном месте, вскользь, намеком: «Уже не первый год я изо дня в день не допускал никаких перемен в области своих чувств и переживаний. ...Поездка в Бальбек (разумеется, Бальбек — это трансформированный воображением писателя Кабур) была для меня словно первый выход на улицу после болезни, когда выздоравливающий вдруг замечает, что поправился».

А в Кабуре, в 1908 году, Марсель Плантвинь (новый друг, с которым Пруст познакомился предыдущим летом) шутливо посоветовал Прусту написать «роман с продолжениями для мидинеток», то есть что-нибудь простенькое и сентиментальное, и назвать его «Под сенью дев, увенчанных цветами»¹. И впоследствии Пруст последовал совету, хотя совершенно не так, как имел в виду Плантвинь, рассказавший об этом эпизоде в воспоминаниях².

Судя по всему, в Кабуре Пруст не столько отдыхал и поправлял здоровье, сколько собирал материал для второй книги. Как человек благовоспитанный, он не сплетничал, конечно, с другими постояльцами, зато подружился с обслуживающим персоналом и поздним вечером, когда курортники уже спали, приходил поиграть в шашки с кем-нибудь из прислуги, накрепко усваивая то, что при этом говорилось³. Прямо в отеле вокруг писателя роились прототипы, просились в книгу; так, одна и та же актриса, с которой Пруст познакомился в 1907 году, мадемуазель Лантельм, послужила моделью сразу для двух героинь второго тома, также актрис, — Рашели (подруги Сен-Лу) и модницы Леа. Чтобы намекнуть на это внутреннее родство между двумя персонажами, Пруст весело дает им имена двух библейских сестер, двух жен Иосифа, — Лии и Рахили. В Кабуре же в романе появилась Альбертина: считается, что одним из прототипов для

нее послужил Альфред Агостинелли, шофер (тогда еще не говорили «шофер», профессия называлась «механик»), с которым Пруст также познакомился летом 1907 года и совершал автомобильные экскурсии по окрестностям Кабура.

В Кабуре же в 1907 году Пруст сблизился с художником Эдуаром Вюйаром (с которым был поверхностно знаком и раньше, с 1904 года). Пожалуй, то, что спустя годы написал о Марселе Прусте Вюйар, вполне мог бы написать персонаж романа художник Эльстир о юноше Марселе: «Под светскими манерами, нисколько не вредившими его обаянию, вскоре я распознал в нем искренний интерес к искусству. Думаю, что живопись он любил не только как литератор. Мне кажется, что он по-настоящему ценил Вермеера, и из нескольких записок, которые он мне написал, у меня сохранилось впечатление о человеке внимательном, который стремится не столько иронизировать, как его друзья и знакомые, сколько знать и понимать»⁴. Эльстир напоминает Вюйара даже манерой выразиться: «Он говорит с нажимом: „Этот тип, Джотто, или тот, другой тип, Тициан, — эти ребята понимали свое дело не хуже Моне, правда же, или еще такой тип, как Рафаэль, и т. д.“ Он три раза в минуту говорит слово „тип“, но это необыкновенный человек»⁵.

А кроме того, книга «Под сенью дев», пожалуй, самая поэтическая во всем романе (кроме разве что «Комбре») и самая насыщенная мифологическими мотивами: Марсель еще не утратил детского, сказочного восприятия жизни, и уже зреет в нем литературный дар. Пытаясь осмыслить то, что видит и чувствует, он то и дело перебирает разные образы, ощупью ищет самый точный: «Карета свернула на другую дорогу, деревья остались позади, г-жа де Вильпаризи допытывалась, почему у меня такой задумчивый вид, а я был печален, словно потерял друга, или сам умер, или отрекся от

мертвого, или не узнал Бога». Впрочем, таким же методом перебора вариантов идет и поиск психологических мотивировок: «он и не пытался ее поправлять — не то из остатков нежности, не то по отсутствию уважения, не то просто от лени»; «но он промолчал — не то пораженный вниманием к его работе, не то из уважения к этикету, из почтения к традиции, из послушания директору, а может, просто не расслышал, или чего-то опасался, или был туповат»; «они предпочитали оставаться дома, из любви не то к родному городу, не то к безвестности, не то к известности, не то потому, что они были реакционерами, не то потому, что им нравилось соседство замков и знакомство с их обитателями»...

Пока шла война и опубликовать написанное было нельзя, Пруст писал дальше, но в 1915 году еще раз вернулся к «Под сенью дев» и значительно переработал книгу; к 1919 году уже в основном готов весь роман. Автору оставалось жить чуть меньше трех лет, которые он употребит на доработку и отделку всех книг «Поисков».

Напомним читателю структуру романа «В поисках потерянного времени» в ее окончательном виде:

Книга 1: В сторону Сванна (опубликована в 1913 г. у Грассе).

Книга 2: Под сенью дев, увенчанных цветами (опубликована в 1918 г. в «Галлимаре», так же как и все последующие).

Книга 3: Сторона Германта (1-я часть опубликована в 1920 г., 2-я — в 1921 г.).

Книга 4: Содом и Гоморра (1-я часть — в 1921 г., 2-я — в мае 1922 г., еще при жизни автора; Пруст умер 18 ноября этого года).

Книга 5: Пленница (1923 г.).

Книга 6: Исчезновение Альбертины (1925 г.).

Книга 7: Обретённое время (1927 г.).

Напоследок переводчику остается приятная обязанность поблагодарить тех, без чьей помощи этот перевод не мог бы состояться. Благодарю за консультации и поддержку Отдел Пруста в Институте текстов и манускриптов (Эколь Нормаль Сюперьер, Париж) и его документалиста Пиру Вайз; моих редакторов Елену Березину и Алину Попову за самоотверженную и строгую правку; моего учителя и коллегу профессора Жозефа Брами за постоянную помощь в работе над французским текстом; всех друзей, помогавших искать скрытые и явные цитаты, в частности Евгения Витковского, приславшего мне подготовленную им замечательную книгу Шарля Леконта де Лиля⁶, которого много раз цитирует Пруст, и многих, многих других.

Елена Баевская

¹ *Под сенью дев, увенчанных цветами.* — Считается, что в оригинале это заглавие отсылает нас к опере Вагнера «Парсифаль», где во втором действии перед героем возникает волшебный сад с прекрасными девами-цветами, которые пытаются очаровать Парсифаля. Так и перед героем «Поисков» во второй части книги возникнет стайка девушек на морском берегу. Но этим значение загадочной строчки несуществующего стихотворения не ограничивается. Еще одна распространенная ассоциация с ним — стихотворение Бодлера «Лесбос», поскольку эта тема появится в книге, сперва в неявном виде, и герою предстоит вникать в скрытые мотивы непонятого поведения окружающих:

Car Lesbos entre tous m'a choisi sur la terre
Pour chanter le secret de ses vierges en fleurs...

(Меж всеми на земле мне Лесбос повелел
Петь тайну девственниц, увенчанных цветами...)

(Здесь и далее там, где имя переводчика не оговорено, перевод цитат Елены Баевской.)

² *Plantevignes M.* Avec Marcel Proust. Nizet, 1966. p. 301-305.

³ *Gimpel R.* Journal d'un collectionneur marchand de tableaux. Calmann-Lévy, 1963. p. 194-198.

⁴ *Chernowitz M. E. Proust and Painting. New York: International University Press, 1945. P. 200* (из письма Вюйара к автору книги от 6 декабря 1936 г.).

⁵ Из письма Марселя Пруста к Рейнальдо Ану от 1 или 2 сентября 1907 г., написанного как раз из Гранд-отеля в Кабуре.

⁶ *Леконт де Лиль III. Античные, варварские, трагические и последние стихотворения* / науч. ред. Е. Витковский; сост. Е. Витковского, В. Резвого. М.: Водолей, 2016.

І. ВОКРУГ ГОСПОЖИ СВАНН



Когда родители впервые собрались пригласить на обед г-на де Норпуа², мама огорчилась, что профессор Котар в отъезде, а со Сванном она совершенно перестала общаться: ведь и с тем и с другим бывшему посланнику наверное было бы приятно побеседовать; отец однако возразил, что такой выдающийся сотрапезник и знаменитый ученый как Котар за столом и впрямь всегда кстати, а вот Сванн с его хвастовством, с его манерой трубить во всеуслышание о своих самых ничтожных знакомствах — вульгарный зазнайка, и маркиз де Норпуа счел бы его «надутым» (это было любимое словечко маркиза). Такие слова отца требуют некоторых пояснений, ведь кое-кому, вероятно, Котар запомнился как посредственность, а Сванн — как человек необычайно деликатный во всем, что касалось его связей в высшем свете, скромный и сдержанный. Но вышло так, что к «сыну Сванна» и к Сванну из Жокей-клуба, старинному другу моих родителей, добавился новый человек (а в дальнейшем, возможно, добавлялись и другие), муж Одетты. Приспособив к ничтожным притязаниям этой женщины все свои прежние инстинкты, устремления, ловкость, он исхитрился создать себе новое положение в обществе, которое было куда ниже прежнего, но зато приличествовало и ему, и спутнице его жизни. Вот так и появился другой человек.

Он продолжал встречаться со своими личными друзьями, но не хотел навязывать им Одетту, если они сами об этом не просили, а тем временем у него началась вторая, общая с женой жизнь, в новом окружении; и можно было бы еще понять, что, желая оценить положение этих новых людей в обществе и, соответственно, как-то польстить своему самолюбию, раз уж приходилось их принимать, он сравнивал их не с теми блистательными знакомыми, которые составляли его круг до женитьбы, а с прежними знакомствами Одетты. Но даже зная, что теперь он хочет дружить с нескладными чиновниками да с иссохшими царицами министерских балов, трудно было не удивляться, что он, когда-то, да и теперь так изящно умалчивавший о приглашении в Твикнхэм или Букингемский дворец⁸, теперь бил во все колокола, если г-же Сванн наносила визит жена заместителя начальника какой-нибудь канцелярии. Наверно, на это можно было бы возразить, что простота у великосветского Сванна была всего-навсего более утонченной формой суетности; подобно многим другим иудеям, старинный друг моих родителей поочередно воплощал все стадии, через которые прошли его соплеменники, начиная с самого наивного снобизма и самой грубой наглости вплоть до самой-изысканной любезности. Но главная причина перемены состояла в том, что наши добродетели — и это относится ко всем людям вообще — не витают в воздухе, доступные нам в любую минуту; у нас в голове они в конце концов оказываются тесно связаны с теми нашими поступками, которые мы совершили под их влиянием; а случись нам заняться чем-то другим, и вот мы уже сбиты с толку и понятия не имеем, что и в этом случае мы могли бы опереться на те же самые добродетели. Угодничая перед своими новыми знакомыми, Сванн напоминал тех великих художников, которые под конец жизни хватаются то за кулинарию,

то за садоводство и при всей своей скромности не в силах скрыть простодушную радость, когда посторонние расхваливают их стряпню или клумбы; здесь они не потерпели бы критики, хотя легко примут ее, если речь идет об их шедеврах; или, при всей щедрости, бесплатно уступая кому-нибудь картину, не могут сдержать раздражения, когда проиграют сорок су в домино.

Ну а с профессором Котаром мы еще долго будем встречаться у Хозяйки в ее замке Распельер, но это будет гораздо позже. Теперь же ограничимся по его поводу только одним замечанием: пожалуй, перемены, совершившиеся в Сванне, могут показаться неожиданными: я сам о них не подозревал, встречая отца Жильберты на Елисейских Полях, хотя, впрочем, он со мной и не разговаривал, а значит, не мог обнаружить передо мной свои политические связи (а даже пускай бы и обнаружил, я бы, наверно, не сразу заметил его суетность, потому что когда составишь себе о ком-нибудь мнение, становишься глух и нем: мама три года не замечала, что ее племянница красит губы, словно помада у той на губах незаметно растворялась без следа; но в один прекрасный день не то дополнительная порция помады, не то другая причина привела к тому, что мы называем перенасыщением; вся доньше незамеченная помада кристаллизовалась, мама, потрясенная этим внезапным буйством красок, объявила — в добрых традициях Комбре, — что это стыд и позор, и почти прервала отношения с племянницей). Для Котара же, напротив, эпоха, когда он был свидетелем первых шагов Сванна в доме у Вердюренов, уже отодвинулась в прошлое; а с годами к нам приходят почести и официальные титулы и звания; кроме того, можно быть необразованным, отпускать дурацкие каламбуры, но обладать особым даром, которого не заменит никакая общая культура, — например, даром великого стратега или великого клинициста. Теперь

собратья Котара признавали, что этот безвестный лечащий врач постепенно становится европейской знаменитостью. Более того, наиболее умные молодые медики объявляли — по крайней мере, в последние несколько лет, поскольку новые моды рождаются именно из потребности в новизне, — что если они когда-нибудь заболеют, то не доверят свою жизнь никому, кроме Котара. Вероятно, общаться они предпочитали с более просвещенными старшими коллегами, более эстетически развитыми, с которыми можно было поговорить о Ницше, Вагнере. В те вечера, когда г-жа Котар в надежде, что когда-нибудь ее муж станет деканом медицинского факультета, принимала его коллег и учеников, сам доктор, как только начинали музицировать, уходил поиграть в карты в соседней гостиной, вместо того чтобы слушать. Но все хвалили быстроту, глубину и надежность его суждений, его диагнозов. И наконец, о поведении в целом, которое доктор демонстрировал окружающим, в частности, моему отцу, заметим, что не всегда во второй половине жизни наши врожденные свойства остаются при нас, пускай развиваясь или тускнея, становясь крупнее или мельче; нет — иногда наша натура словно выворачивается наизнанку, как перелицованная одежда. Пока Котар был молод, его неуверенный вид, застенчивость, преувеличенное дружелюбие навлекали на него бесконечные насмешки повсюду, кроме как у Вердюренов, которые были от него в восторге. Какой милосердный друг посоветовал ему напустить на себя ледяной вид? Теперь ему это было нетрудно, потому что он занимал важное положение. Так вот, теперь только с Вердюренами он вновь инстинктивно становился самим собой, а в остальное время держался холодно, предпочитал молчать, а если нужно было высказаться — говорил безапелляционно, и не забывал прибавить что-нибудь неприятное. Он, вероятно, испробовал эту новую

манеру на пациентах, которые раньше его не знали и не могли сравнивать, так что их удивило бы, узнай они, что от природы грубость была ему не свойственна. Главное, он следил за тем, чтобы всегда оставаться невозмутимым: даже на работе, в больнице, когда он выдавал свои каламбуры, которые у всех, от директора больницы до самого юного экстерна, вызывали смех, бывало, ни один мускул у него не дрогнет в лице, которое, кстати, неузнаваемо изменилось с тех пор, как он сбрил бороду и усы.

Наконец объясним, кто такой маркиз де Норпуа. До войны он был полномочным министром, во время событий 16 мая посланником⁹, и, несмотря на все это, к великому удивлению многих и многих, ему поручали представлять Францию по всяким исключительным поводам — даже быть контролером государственного долга в Египте, где благодаря своим великим финансовым талантам он оказал стране важные услуги; причем эти поручения давали ему радикальные кабинеты министров, которые не приняли бы на службу реакционера, даже если бы он был простым буржуа, а уж прошлое г-на де Норпуа, его связи и образ мыслей должны были, казалось, тем более внушать им подозрения. Но эти передовые министры, по-видимому, понимали, что таким назначением докажут широту взглядов во всем, что касается высших интересов Франции, и проявляли ни с чем не сравнимую политическую изоциренность; за это они удостаивались от газеты «Деба» титула «государственных деятелей» и в конечном счете извлекали пользу из блеска, неотъемлемого от аристократического имени, а также из любопытства, которое пробуждает у публики неожиданный выбор, поражающий ее, как внезапная развязка в пьесе. Причем министры знали, что, обращаясь к г-ну де Норпуа, могут получить все эти выгоды, не опасаясь подвоха с его стороны:

происхождение маркиза не только не вызывало у них опасений — оно даже служило залогом его лояльности. И в этом правительство Республики не ошибалось. Прежде всего потому, что определенная часть аристократии с детства приучена воспринимать свое имя как врожденное преимущество, которого ничто не может у нее отнять (и цену которому точно знают те, кто от рождения так же знатен или еще знатнее); поэтому аристократ понимает, что может, ничего не теряя, избавиться себя от усилий, которые предпринимают буржуа, стараясь высказывать только правильные суждения и встречаться только с благонамеренными людьми, — усилий, которые, кстати, в дальнейшем почти не приносят им ощутимой пользы. Зато, стараясь возвыситься в глазах королевских и герцогских родов, превзошедших ее на иерархической лестнице, аристократия понимает, что для этого ей непременно нужно прибавить к своему имени то, чего ему еще не хватает: политическое влияние, славу в мире литературы или искусства, огромное состояние. Аристократия пальцем не шевельнет ради бесполезного захудалого дворянчика, чьей дружбы домогаются буржуа, ведь члены королевской фамилии не скажут ей спасибо за это бесплодное знакомство; но зато уж она расстарается ради политиков, будь они хоть масоны, — ведь политики могут и в посольство ввести, и на выборах помочь — и ради людей искусства или ученых, чья поддержка помогает «прорваться» в те круги, где они царят, короче, ради всех тех, кто поможет блеснуть или заключить выгодный брачный союз.

Но главное, г-н де Норпуа во время своей продолжительной дипломатической службы проникся тем неодобрительным, рутинным, одним словом, «правительственным» духом, что присущ на самом деле всем правительствам и, в частности, канцеляриям, существующим при каждом правительстве. На

служебной стезе опорой ему служили отвращение и презрение к тем более или менее революционным или по меньшей мере некорректным приемам, которыми пользуется оппозиция; такие приемы внушали ему страх. Если не считать неучей, разночинных или великосветских, для которых разница в стиле — пустой звук, людей объединяет не сходство убеждений, а духовное родство. Академик вроде Легуве, поборник классиков, скорее станет восторгаться похвалой Виктору Гюго из уст Максима Дюкана или Мезьера, чем восхищенным отзывом Клоделя о Буало¹⁰. Национализм Барреса привлекает к нему избирателей, для которых нет большой разницы между ним и г-ном Жоржем-Берри¹¹, но не собратьев по Академии, у которых политические убеждения те же, а общий строй мыслей совершенно другой, поэтому им милее даже такие противники Барреса, как г-н Рибо и г-н Дешанель — а правоверные монархисты в свой черед тянутся скорее к Барресу и Рибо, чем к Моррасу или Леону Доде, хотя эти последние тоже хотели бы возвращения короля¹². Г-н де Норпуа был скуп на слова не только по профессиональной привычке к благоразумию и сдержанности, но и потому, что немногословные замечания звучат более веско, передают больше оттенков, особенно на вкус людей, у которых десять лет усилий по сближению двух стран, в речи ли, в протоколах ли, выражаются и запечатлеваются в виде какого-нибудь простого прилагательного, на первый взгляд банального, но для них-то в этом слове воплощен целый мир; поэтому маркиз слыл весьма холодным человеком в той комиссии, где заседал рядом с моим отцом, которого все поздравляли с тем, что он приобрел дружбу бывшего посланника. Этой дружбе мой отец удивлялся больше всех. Вообще отец был человек не слишком любезный, поэтому он привык, что к нему не очень-то тянутся люди за пределами кружка самых

близких, и сам простодушно в этом признавался. Он чувствовал, что знаки благоволения дипломата — результат совершенно индивидуальной точки зрения, которую каждый из нас вырабатывает сам для себя, решая, кто ему симпатичен; ведь если кто-нибудь раздражает нас или наводит на нас скуку, то этого не искупят никакие сокровища ума и доброты: мы всегда предпочтем ему другого, искреннего и веселого, пускай эти качества многим кажутся пустяковыми, ничтожными и несущественными. «Де Норпуа опять пригласил меня на обед; чудеса, да и только; все в комиссии изумлены, ведь он ни с кем там не сближается. Я уверен, что он опять будет рассказывать захватывающие подробности о войне семидесятого года»¹³. Отец знал, что г-н де Норпуа был чуть ли не единственным, кто предупредил императора о растущей мощи и воинственных намерениях Пруссии, и что его умом восхищался Бисмарк. Совсем недавно газеты отметили, что в Опере во время гала-представления в честь царя Теодоза¹⁴ государь удостоил г-на де Норпуа долгой беседы. «Я непременно должен выяснить, в самом ли деле этот визит имеет такое значение, — сказал нам отец, питавший огромный интерес к иностранной политике. — Я знаю, что папаша Норпуа весьма сдержан, но передо мной он так мило раскрывается».

Маме, вероятно, больше нравился в людях иной склад ума, чем у бывшего посланника. Замечу, что разговор г-на де Норпуа представлял собой необыкновенно полное собрание устаревших форм языка, присущих определенной профессии, определенному классу, определенной эпохе — эпохе, которая для этой профессии и этого класса еще не вполне отодвинулась в прошлое, — и я подчас жалею, что не запоминал в точности его тогдашних речей. Овладев его словарем, я бы достиг без особых затрат и хлопот того самого

эффекта старомодности, что актер Пале-Рояля¹⁵, у которого спросили, где можно найти такие потрясающие шляпы, как у него, а актер ответил: «Я не нахожу свои шляпы. Я их храню»¹⁶. Словом, думаю, что мама считала г-на де Норпуа несколько «несовременным»; против несовременных манер она как раз не возражала, да и понятия г-на де Норпуа были как нельзя более современные, но вот от его лексикона она была далеко не в восторге. Зато она чувствовала, что тонко льстит мужу, говоря с восхищением о дипломате, который выказывает ему столь редкостное предпочтение. Она подтверждала хорошее отношение к г-ну де Норпуа, сложившееся у отца, а тем самым укрепляла его в хорошем отношении к себе самому; и она сознавала, что исполняет таким образом свой долг, состоявший в том, чтобы украшать жизнь мужу; во имя того же долга она следила, чтобы еда была вкусная, а прислуга расторопная. А поскольку она была неспособна лгать отцу, то сознательно упражнялась в искусстве восхищаться посланником, чтобы хвалить его со всей искренностью. Впрочем, ей в самом деле нравился его добродушный вид, его несколько старомодная учтивость (настолько церемонная, что, когда он шагал по тротуару, выпрямившись во весь свой немалый рост, и замечал маму в экипаже, то прежде чем приветствовать ее взмахом шляпы, отбрасывал далеко прочь только что раскуренную сигару), его неторопливый разговор, в котором о себе он говорил как можно меньше и никогда не забывал о том, что может быть приятно собеседнику, его поразительная пунктуальность в переписке: бывало, отец едва отправит ему письмо и уже узнаёт его почерк на только что полученном конверте, так что первым делом ему приходит в голову, что их письма разминулись: казалось, для г-на де Норпуа заведена на почте особая ускоренная доставка. Мама восторгалась тем, что он так

точен, хотя очень занят, и так дружелюбен, хотя окружен множеством людей, и ей не приходило в голову, что «хотя» — это всегда скрытые «потому что» (не случайно старые люди бывают поразительно молоды для своего возраста, короли исполнены простоты, а провинциалы в курсе всех новостей) и что одни и те же привычки позволяют г-ну де Норпуа успешно заниматься столькими делами и так аккуратно отвечать на письма, пользоваться таким успехом в обществе и проявлять такую благожелательность по отношению к нам. К тому же мама впадала в заблуждение, свойственное всем скромным людям: ставила себя ниже других, а потому упускала из виду общую картину. Превознося друга моего отца, обремененного ежедневной обширной перепиской, за то, что он мгновенно отвечает нам на письма, она отделяла наше письмо от груды остальных, хотя оно было лишь одним из многих; точно так же она не понимала, что обед у нас в гостях был для г-на де Норпуа одним из бесчисленных элементов его светской жизни: ей в голову не приходило, что посланник с незапамятных времен привык на своей дипломатической службе считать обеды вне дома частью своих служебных обязанностей и расточать на этих обедах издавна усвоенную любезность, а ждать от него, чтобы он был как-то по-особенному любезен у нас в гостях, было бы слишком самонадеянно.

Впервые г-н де Норпуа пришел к нам обедать в тот год, когда я еще ходил играть на Елисейские Поля; этот обед остался у меня в памяти, потому что в тот день я наконец пошел на дневной спектакль слушать великую Берма¹⁷ в «Федре»¹⁸, а еще потому что, беседуя с г-ном де Норпуа, я внезапно и совершенно по-новому осознал, насколько мои чувства к Жильберте, Сванну и всей их семье отличаются от тех чувств, которое вызывает эта самая семья у всех, кроме меня.

Наверное, мама заметила, в какое уныние повергло меня приближение новогодних каникул, на которых я не смогу видаться с Жильбертой, о чем моя подруга сама меня предупредила; и вот в один прекрасный день, желая меня развлечь, мама сказала: «Если тебе по-прежнему так хочется послушать Берма, я думаю, что отец тебе разрешит: бабушка готова пойти с тобой в театр».

Не кто иной, как г-н де Норпуа, сказал отцу, что нужно сводить меня на Берма: это, мол, будет одно из тех впечатлений, которые навсегда должны остаться в памяти у молодого человека; и вот отцу, до сих пор и мысли не допускавшему, что я буду терять время и рисковать здоровьем ради того, что он, к негодованию бабушки, называл пустяками, теперь уже, после рекомендации посланника, этот спектакль смутно представлялся чуть ли не одним из драгоценных рецептов блестящей карьеры. А бабушка уже успела во имя моего здоровья мысленно пожертвовать всей той пользой, которую, по ее мнению, я получил бы от выступления Берма, и теперь удивлялась, каким образом по одному слову г-на де Норпуа жертва оказалась ненужной. Теперь бабушка, вооружась рационализмом, твердо уповала на предписанные мне свежий воздух и ранние укладывания в постель; заранее оплакивая предстоящее мне нарушение режима, она с сокрушенным видом говорила отцу: «Как вы легкомысленны!» — а он яростно отбивался: «Я просто ушам своим не верю! Вы же сами все время твердили, что это пойдет ему на пользу, а теперь не хотите его пустить!»

Между тем г-н де Норпуа повлиял на намерения моего отца в еще более важном вопросе. Отец всегда хотел, чтобы я стал дипломатом, а для меня была невыносима мысль, что даже если какое-то время я буду связан с министерством, то потом все равно меня, скорей всего, назначат посланником в какую-нибудь иностранную

столицу, где не будет Жильберты. Мне бы больше хотелось вернуться к прежним моим литературным планам, которые я вынашивал на прогулках в сторону Германта и от которых потом отказался. Но отец постоянно сопротивлялся моему желанию избрать себе поприщем литературу: он считал ее гораздо ниже дипломатии и вообще отказывался видеть в ней «поприще», однако г-н де Норпуа, не любивший дипломатов новейшей формации, сумел его убедить, что писатель может пользоваться таким же уважением, таким же влиянием, как дипломат, и при этом сохранять бóльшую независимость.

«Вот уж никогда бы не подумал! — сказал мне отец, — папаша Норпуа ничего не видит страшного в том, чтобы ты занимался литературой». Сам обладая некоторым весом, он верил, что любое дело может устроиться и разрешиться наилучшим образом, если поговорить о нем с влиятельным человеком: «Как-нибудь на днях после заседания комиссии я приведу его обедать. Ты с ним немного побеседуешь, чтобы он мог составить о тебе мнение. Напиши что-нибудь такое, чтобы не стыдно было ему показать; он в прекрасных отношениях с директором „Ревю де Дё Монд“¹⁹, он может тебя туда ввести, он что угодно уладит, это такая голова! А сегодняшнюю дипломатию он, кажется, не слишком-то жалуется...»

Я жаждал не разлучаться с Жильбертой и во имя этого счастья хотел, но не мог написать что-нибудь воистину достойное, что можно было бы показать г-ну де Норпуа. После первых же страниц мне становилось скучно, перо выпадало из рук, я плакал от ярости при мысли, что у меня нет таланта и я настолько бездарен, что даже не могу воспользоваться шансом, который сулит мне скорая встреча с г-ном де Норпуа, и навсегда остаться в Париже. Меня утешала только мысль о том, что скоро мне разрешат послушать Берма. Но точно так же как

бурю я мечтал увидеть непременно на том побережье, где она бушует сильнее всего, так и великую актрису мне хотелось бы видеть в одной из тех классических ролей, о которых Сванн говорил, что в них она не знает себе равных. Ведь впечатлений от природы или искусства мы жаждем в надежде открыть для себя нечто важное; поэтому мы сомневаемся, стоит ли вместо этого пробавляться более мелкими впечатлениями, которые исказят для нас истинный смысл прекрасного. Мое воображение манили знаменитые роли Берма в «Андромахе», в «Прихотях Марианны»²⁰, в «Федре». Тот же восторг, что в день, когда гондола принесет меня к стенам церкви деи Фрари, где таится Тициан, или к Сан Джорджо дельи Скьявони²¹, ждал меня, если я услышу, как Берма декламирует стихи:

Сказали мне, что вы собрались в дальний путь,
Мой принц...²²

Я знал их по простому черно-белому воспроизведению типографским способом; но сердце мое билось, когда я думал, что наконец они предстанут мне омытые воздухом и светом серебристого голоса: это было бы словно воплощенное в жизнь путешествие. Шедевры драматического или изобразительного искусства — Карпаччо²³ в Венеции или Берма в «Федре» — были в моем воображении окружены ореолом, сообщавшим им такую цельность, что если бы я увидел Карпаччо в зале Лувра или Берма в какой-нибудь пьесе, о которой никогда не слыхал, я ни за что не испытал бы восхитительного изумления, с которым сознаешь, что вот наконец видишь своими глазами нечто непостижимое и единственное в своем роде, именно то, о чем без конца мечтал. А кроме того, от игры Берма я ожидал откровений о природе благородной скорби, и мне казалось, что эта приподнятость, эта истинность

явятся в ее игре с особенной полнотой, если актриса вложит их в произведение воистину достойное, вместо того чтобы вышивать перед нами прекрасные и правдивые узоры на пошлом, в сущности, и посредственном фоне.

И наконец, если я пойду слушать Берма в новой пьесе, мне нелегко будет судить о ее искусстве, совершенстве ее декламации, потому что, не зная заранее текста, я не сумею отделить его от того, что добавят ему интонации и жесты актрисы, слившись с ним воедино; а классические произведения, которые я знал наизусть, представлялись мне огромными полотнищами, словно специально отведенными и предназначенными для того, чтобы я мог легко и свободно оценивать открытия Берма, расписавшей их, словно фрески, бессмертными находками своего вдохновения. К сожалению, в последние годы она покинула более знаменитые подмостки и блистала в одном театре на бульварах²⁴; классики она больше не играла, и напрасно я смотрел афиши: там объявлялись всегда только совсем новые пьесы, сочиненные специально для нее модными авторами; но вот как-то утром я искал в колонке театральных анонсов, какие будут дневные спектакли на неделе после Нового года, и увидел впервые, в конце представления, после одноактной пьески, скорее всего неинтересной, с невразумительным, на мой взгляд, названием, отражавшим какие-то частности неведомой мне интриги, — два действия из «Федры» с мадам Берма, а на следующих утренних спектаклях «Полусвет»²⁵, «Прихоти Марианны», — названия, которые, так же как имя Федры, были для меня прозрачны, наполнены только светом, ведь сами произведения я знал вдоль и поперек, и до самого дна озарены улыбкой искусства. А потом, когда я увидел в газете программу этих спектаклей и прочел, что мадам Берма решила вновь показаться публике в своих старых

ролях, это еще больше возвысило ее в моих глазах. Значит, артистка знала, что некоторые роли интересны не благодаря своей новизне и не потому, что их возобновление может принести успех; собственная трактовка этих ролей была для нее чем-то вроде музейных шедевров, которые полезно было бы вновь представить взорам того поколения, которое ими восхищалось раньше, и того, которое их уже не застало. Объявляя вот так, среди пьес, годных только на то, чтобы вечер провести, «Федру», чье название было не длинней других и набрано было таким же шрифтом, она словно вкладывала в это имя особый смысл, как хозяйка дома, которая знакомит вас с остальными гостями перед тем, как идти к столу, и среди имен обыкновенных людей, таким же тоном, каким она называла всех, произносит: господин Анатолий Франс²⁶.

Врач, который меня лечил — тот, что запретил мне все путешествия, — не советовал родителям пускать меня в театр; я, дескать, вернусь оттуда больной и, возможно, надолго расхвораюсь, одним словом, испытаю не столько удовольствие, сколько новые страдания. Такое опасение могло бы меня остановить, если бы я ждал от этого спектакля только удовольствия, которое последующие страдания могут, в сущности, свести на нет: одно компенсирует другое. Но — так же, как от поездок в Бальбек и в Венецию, столь для меня желанных, — я ждал от спектакля не удовольствия, а совсем другого; я жаждал истин, принадлежащих миру более реальному, чем тот, в котором я жил; если я овладею этими истинами, никакие превратности моего праздного существования, пускай даже мучительные для тела, уже не смогут лишить меня добытого знания. А главное, мне казалось, что для того, чтобы воспринять эти истины, мне необходимо вот именно насладиться спектаклем; я только мечтал, чтобы хворь, которую мне предрекали, не испортила мне зрелища и не помешала

досидеть до конца, а началась уже потом. Я умолял родителей, которые после визита врача передумали пускать меня на «Федру». Я без конца декламировал сам себе тираду: «Сказали мне, что вы собрались в дальний путь», выискивая все интонации, которые можно в нее вложить, чтобы лучше оценить ту, что изберет Берма. Небесная красота, словно святая святых, была укрыта от меня завесой, и я каждый миг воображал ее себе по-новому, отталкиваясь от слов Берготта в той брошюре, что нашла для меня Жильберта, — эти слова непрестанно всплывали у меня в памяти: «Благородная пластика, христианская власяница, янсенистская бледность, трезенская царевна, принцесса Клевская, микенская драма, дельфийский символ, солярный миф»; эта самая красота, которую должна была явить мне игра Берма, денно и ночью восседала на вечно озаренном алтаре в глубине моей души, но до сих пор мне виден был только ее смутный силуэт — а жестокие и легкомысленные родители еще раздумывали, стоит ли заменить его совершенствами Богини, явленной во всем блеске. Не отводя глаз от таинственного образа, с утра до вечера я боролся с препятствиями, которые воздвигали передо мной родные. Но когда преграды пали, когда мама сказала (хотя спектакль пришелся как раз на тот день, когда после заседания комиссии отец должен был привести на обед г-на де Норпуа): «Ну ладно уж, мы не хотим тебя огорчать, сходи, если ты уверен, что тебе так понравится», когда этот поход в театр, за который мне столько пришлось бороться, перестал от меня зависеть и оказалось, что мне не нужно больше ничего делать, что он перестал быть неосуществимым, тут-то я и задумался, а так ли я этого хочу, а нет ли у меня других причин, кроме родительского запрета, чтобы отказаться от похода в театр. Во-первых, теперь, когда я уже не возмущался жестокостью родителей, их согласие вызва-